

Марко Вовчок

Игрушечка



Марко Вовчок

Игрушечка

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7457400

Аннотация

«Я родом-то издалёка, свой край чуть помню: увезли меня оттуда по шестому году.

Вот только помню я длинную улицу да темный ряд избышек дымных; в конце улицы на выгоне стояли две березы тонкие – высокие. Да еще помню, у нас под самым окном густые такие конопли росли, а меж коноплями тропиночка чернела, а где-то близко словно ручеек журчал, а вдали на горе лес зеленел. Да еще я помню свою матушку родную. Все она, бывало, в заботе, да все сиживала пригорюнившись... Отца я не знала: он помер, мне еще и году не было. Жили мы в своей избышке... После, на чужой стороне, часто мне, бывало, те дни прошлые пригрезятся, что кругом поле без края, солнце горит и жжет, сверкают серпы, валится рожь колосистая; я сижу под копной, около меня глиняный кувшинчик с водой стоит; подойдет матушка с серпом в руке, загорелая она, изморенная, напьется воды из кувшинчика, на меня глянет и мне усмехнется... А зимою! в печи дрова трещат, в избышке дымно; хлопочет заботная моя матушка, а в окно глянь – снежная пелена белая из глаз уходит; во всех избах сенные двери настезь, и валит из дверей дым серый...»

Вовчок Марко

Игрушечка

(Посвящается Марье Каспаровне Рейхель)

Я родом-то издалёка, свой край чуть помню: увезли меня оттуда по шестому году.

Вот только помню я длинную улицу да темный ряд избушек дымных; в конце улицы на выгоне стояли две березы тонкие – высокие. Да еще помню, у нас под самым окном густые такие конопли росли, а меж коноплями тропиночка чернела, а где-то близко словно ручеек журчал, а вдали на горе лес зеленел. Да еще я помню свою матушку родную. Все она, бывало, в заботе, да все сиживала пригорюнившись... Отца я не зазнала: он помер, мне еще и году не было. Жили мы в своей избушке... После, на чужой стороне, часто мне, бывало, те дни прошлые пригрезятся, что кругом поле без краю, солнце горит и жжет, сверкают серпы, валится рожь колосистая; я сижу под копной, около меня глиняный кувшинчик с водой стоит; подойдет матушка с серпом в руке, загорелая она, изморенная, напьется воды из кувшинчика, на меня глянет и мне усмехнется... А зимою! в печи дрова трещат, в избушке дымно; хлопочет заботная моя матушка, а в окно глянь – снежная пелена белая из глаз уходит; во всех избах сенные двери настежь, и валит из дверей дым серый...

Деревья стоят, инеем опушились; тихо на улице; только задорные воробьи чирикают, скачут... И вдруг я в хоромых богатых очутилась, всюду шелки да бархаты, стены расписные, гвозди золоченые. Стою я середь горницы замираючи, а передо мной сидит на кресле барыня молодая, пригожая, разряженная. Сидела она и, глядячи на меня, усмехалась. Маленькая барышня, румянькая, кудрявая, вертелась по комнате да, смеючись, все меня беленьким пальчиком затрагивала – вот словно как деревенские ребятишки галчат дразнят... Как схватили меня с улицы и посередь горницы перед барыней поставили, так и стою я да озираюсь: сердце у меня со страху закатилось... Понемножку я в себя пришла и плакать стала, стала к матушке проситься. Барыня в серебряный колокольчик зазвонила, и человек усатый вбежал: «Отнеси ее домой!» – показывает ему барыня на меня, а барышня как закричит, как затопает ножками!.. Барыня к ней целовать, унимать – барышня еще пуще...

Выскочил из другой горницы барин щеголеватый... «Что что?» Махнули на усатого человека: «Иди!», а меня не пустили, кусочек мне сахару дали и велели: «Не плачь».

Потом я помню безлюдное да безбрежное поле да по полю дорогу змеей черною да помню свою тоску беспомощную... После уже, как я в лета вошла, то от людей узнала, что и как было.

Увидала меня на улице барышня гуляючи; я барышне приглянулась. «Дай мне эту девочку, подари!» – говорит она ба-

рыне.

Барыня ее уговаривать стала: «На что тебе такая замарашка, глупенькая!» Да барышня ничего слушать, знать не хочет: «Дай девочку!» Сама в слезы ударилась.

Вот и приказали меня в хоромы привести. Привели, да уж и не выпустили. А господа в другую отчину выезжали, и на другой день у них был отъезд положен. «Хочу девочку с собой взять!» – кричит барышня. Попробовали ее уговаривать, только слова даром потратили. Барышня опять расплакалась, опять раскричалась; погладили ее господа по головке и велели меня в дорогу с собой снарядить. Приходила к ним моя матушка с горькими слезами: «Отдайте дочку!» – Я б тебе отдала, да барышня не пускает, очень ей твоя дочка понравилась, – ответила моей матушке барыня. – Ты не плачь, пожалуйста: она ведь скоро барышне прискучит, детям забава не надолго – тогда сейчас твою дочку мы перешлем к тебе.

Вышла барыня из девичьей и говорит своей ключнице любимой:

– Ах, как жалко мне эту женщину! просто я на нее смотреть не могу. Идите, душечка Арина Ивановна, скажите ей что-нибудь, дайте ей вот денег... ну, отдайте что-нибудь из моих вещей похуже... Только поскорее, чтоб она шла себе, чтоб тут не плакала...

Вышла Арина Ивановна к моей матушке и стала мою матушку из хором гнать. Матушка пошла. На другой день, как мы уж выезжали, приходила она хоть проститься со мной –

не допустили.

– Лучше ты не показывайся: раздразишь девочку, и барышню еще в слезы введешь, и господ, чего доброго, разгневишь – твоей же дочке жутче придется.

Матушка и не стала добиваться. Только как мы из деревни выезжали, она спряталась на выгоне в конопли да издали на меня взглянула, поблагословила меня... А мне-то, глупой девочке, какво приходилось! От страха, от слез задыхалась, а из всех дверей на меня грозятся, сверкает на меня глазами ключница; барыня проплывет через горницу, усмехается, покажется в дверях барин щеголеватый, песенку себе насвистывает; прыгает барышня, веселенькая, – и все на меня глядят, и всех-то я боюсь...

Путь-дорога моя ясно мне помнится. Я ехала в бричке с ключницей, с Ариной Ивановной, следом за господскою каретой. Арина Ивановна была и гневна и придиричива; за мои слезы детские била меня; не позволяла мне из брички выглянуть и все мне спать приказывала. Я, бывало, как встречу ее глаз черный, злобный да голос шипящий услышу – меня уж дрожь пронимает. Тоска безутешная, страх беспрестанный да жаркое лето знойное совсем меня истомили – я захворала. Тогда меня перестали на всяком постое к барышне на забаву таскать – боялись, что болезнью ее заражу, – велели меня в бричке уложить и с барского стола мне подачки присылали... Бывало, едем-едем, и укачает меня, дремота нападет тяжелая да беспокойная, и вдруг что-то зашумит, пахнет в

лицо прохладой; открою глаза – а то мы дубовый лесок проезжаем, и веет свежий ветерок, и зеленые листья шелестят полегоньку... Хочу приподняться. «Чего тебе? куда?» – прикрикнет Арина Ивановна... Я опять глаза закрою, и опять едем, едем под солнцем жарким, и какая-то птица звонко, звонко кричит... Иногда, бывало, барышня вырвется из кареты, вскочит в бричку и давай тормошить меня: «Вставай, вставай ты поскорей, мне без тебя скучно!» Случалось, что и сама барыня подойдет: «А что, Арина Ивановна, что Игрушечка?» Меня, видите, Грушей звали. Говорят, как спрашивала барыня у моей матушки: «Как твою дочь зовут?» – «Грушечка!» – ответила ей моя матушка. «Грушечка!

Грушечка! – подхватила барышня. – Пусть будет она лучше Игрушечка!» Господа посмеялись, им понравилась кличка такая. С той поры и стала я Игрушечкой...

Приехали мы в отчину, в село Рогожино, и там господа на житье поселились.

Сначала на новом месте все мне смутно представляется. Я лежала долго больна в избе душной, и поили меня какими-то горькими травами. Много людей в той избе толпилось; они себе и ссорились и мирились, и охали и веселы бывали. Были они все мне чужие. Я только на них смотрю, бывало, а они на меня-то разве мимоходом глянут – тоже им девочка чужая. Да и дела много у всякого. Известно, что дворня всегда в суете да в беготне. Хоть дела-то не велики, да лучше великих уходят.

Изба эта была высокая, просторная – приходят, бывало, туда и самовары чистить и пряжу мотать, и белье стирать. Кто, бывало, в людской не поместится, сюда ночевать идет. Называли все эту избу избой запасною.

Вот только раз я лежу – приотворилась дверь, и кудрявая голова молодая выглянула.

– Что, все ушли? – проговорил высокий молодец, входячи в избу.

– Все, – ответила я ему.

– А ты что, девочка, лежишь? – ласково да весело так меня спросил.

– Больна, – говорю.

– Ах, бедненькая ты, завезенная крошечка! выздоравливай-ка скорее!

И пошел себе, и веселый его голос смолк... Арина Ивановна ходила ко мне всякий день и обед мне из хором приносила. Придет всегда сердитая, грозная: такой страх, бывало, на меня напустит. Как только стала я поправляться, тотчас меня опять к барышне привели и уж с этого дня безотлучно при ней держали.

Рядом с детской была Арины Ивановны горница, а подле горницы маленький чуланчик темный, узенький, словно ящик, там я спала. Как вспомню, какие там на меня страхи находили! То представится мне, что кто-то к моему уху наклоняется – шепчет, то в потемках мне чьи-то глаза сверкнули, то чудится, что-то щелкает...

Завернусь с головой в старенькое жалованное одеяльце, лежу, чуть дышу... И вспомнится мне вдруг, как меня матушка на руки брала, как меня голубила – больно сердчишко забьется, зальюсь слезами горячими... И долго и горько плачу, пока уж из сил выбьюсь, засну. И приснится мне матушка, я к ней прижимаюсь крепко, я хочу ей все рассказать, да пожаловаться, да приласкаться, а тут меня толкают, будят; сон прогнали, – и уж как я, бывало, эти сны отлетевшие оплакиваю, словно живых людей!

Арина Ивановна с первого взгляда меня невзлюбила, а еще пуще гнала за то, что барышня меня жалела, что, бывало, меня и шагу от себя не отпустит, а на Арину Ивановну: «Идите, идите, Арина Ивановна, мне вас не надобно; я буду с Игрушечкой».

За то Арина Ивановна, где ни попадет, там меня и пристукнет. «Вот, твердит, вот не было печали! Ах, бесенок ты этакой!» Сначала уж очень она обижала меня, так что и барышня жаловалась барыне и барыня сама Арину Ивановну усовещивала.

– Была у Зиночки козочка дикая, – говорила, – был попугай у Зиночки, как вы за ними ухаживали, помните, Арина Ивановна? Что ж вам бедная эта Игрушечка сделала? За что вы ее так гоните?

– Не гоню я ее, сударыня, а только мне вот обидно, что хамку со мной равняют. Я хоть бедная вдова, да я родовая дворянка.

– Ах, милая Арина Ивановна! кто ж вас с нею равняет? Вы понимаете, это Зиночкина забава. Вы для Зиночки это сделайте, не обижайте Игрушечку.

– Да бог с нею! – ответила Арина Ивановна. – Служила я всегда вам, кажется, и верой и правдой, да вот, сударыня, чего дослужилась! Мне заказ девчонку поучить!

Для вас же, сударыня, я ее учила; не угодно вам – как изволите!

Мало мне полегчало после этого разговору. Реже, исподтишка, да больнее стала меня Арина Ивановна донимать. И за все стала ко мне придирааться. Пройду ли мимо:

«Иди-ка сюда, любимочка, – кивает на меня гневно, – иди-ка! Ты это на радостях, что у меня голова болит, бурю-то носишься?» Говорю ей: барышня меня послала, за делом иду. «Вот тебе барышня! вот тебе!» Чашка ли, тарелка ли разобьется на другом конце дома – я отвечаю. «Твоих рук, говорит, не минуло!» Хоть перед нею плачь, хоть божись, она не слушает; чаще молчишь, бывало... Да она и сама, верно, знала, что напраслину взводит. Раз она меня пилатила, пилатила, да уж и сама мне говорит: «Ах ты, несчастная! и на что ты на белый свет народилась?» Одним вечером сидели мы с барышней в детской, играли на ковре, а Арина Ивановна в своей комнате шила, и слышу, входит к ней кто-то; Сашин голос узнаю (девушка была горничная Саша). «Арина Ивановна! говорит. Опять тростинский мужик пришел, просит, чтоб к Игрушечке его допустили».

– Как ты смеешь мне глупые его слова мужицкие переносить? Сказала я уж раз ему, чтоб убирался! Он у меня дождется радости, дождется! – грозит.

– Да уж очень он просит, Арина Ивановна, – говорит Саша: – Игрушечкиной матери обещался, просила-то как она, рассказывает, слезами обливалась: «Сам ты посмотри на нее да хоть Расскажи мне, какая она стала!» Я сижу, так и обмираю.

– Вот еще выдумки глупые! – ответила Арина Ивановна еще сердитей. – Чего ты-то лезешь? Игрушечка с барышней играет, барышню мне, что ли, для вас раздражить?

– На часочек, Арина Ивановна: он только отдаст Игрушечке гостинец, что мать прислала, да глянет на нее.

– Что еще за гостинцы там? Принеси-ка сюда, я сама ей отдам.

Горько я тогда зарыдала. Барышня встревожилась, бросилась ко мне – она, играючи, не прислушивалась. «Что, Игрушечка, что такое?» добивается. Арина Ивановна вскочила в детскую.

– Что такое?

– Игрушечка, скажи! – пристаёт барышня.

– Прислала мне матушка гостинец, – жалуясь: – не отдаю.

– Да что вы ее, глупую, слушаете? – закипела Арина Ивановна: – Вот я ей задам матушкиного гостинца, чтобы барышню не тревожила! Сейчас у меня перестань, негодница! нишкни! – А сама ко мне...

– Не смейте ее трогать! – крикнула барышня. – Какой гостинец ей прислали? где гостинец? сейчас ей отдайте! сейчас сюда принесите!

А из двери бородатое лицо чье-то выглянуло. Арина Ивановна коршуном кинулась:

– Как смеешь! Куда? – И двери захлопывает.

– Да как же, матушка, – ответил ей кто-то из-за дверей протяжным голосом: – дал слово, держись... пускай сами господу рассудят...

Барышня оттолкнула Арину Ивановну и настезь дверь распахнула. Вижу, стоит мужичок в сером армяке с шапкой в руках; лицо худое такое, борода длинная, смирный да добрый был с виду.

– У тебя гостинец Игрушечкин? – спрашивает барышня. – Иди сюда да отдай ей.

Мужичок барышне низко поклонился вошедши, поглядел на всех и на меня потом показал:

– Видно, Груша? Поди-ка, Груша, сюда, – говорит мне: – поди, я по головке поглажу.

И погладил меня по головке. Арина Ивановна только глядела да думала, что б ей тут сделать, барышни боялась да губы кусала; потом невмочь ей стало – вышла.

– Мать кланяется, – говорит мне мужичок, – помнишь мать-то еще? Ну, не плачь.

И гостинчик мать прислала.

Вынул из-за пазухи мешочек и дал мне, а я тот мешочек

крепко ухватила...

– Что ж от тебя матери-то сказать, а? – спрашивает мужичок, а я только плачу.

Арина Ивановна в дверях стала.

– Что ж, – говорит, – скоро? ты приказчику нужен – иди.

– Ну, прощай, Груша! – сказал мужичок. – Не плачь, мать еще гостинчика пришлет.

– Я к ней хочу... к матушке хочу! – рыдаючи я ему вымолвила.

– Ну, хорошо, хорошо, и к ней пустят, только вот не плачь!

– Царица какая проявилась! – загремела Арина Ивановна, – еще поблажку ей давать! Не видать тебе матушки своей, не видать! – вскинулась на меня. – А ты иди-ка, иди! – гонит мужика.

Погладил он еще по головке меня и ушел. Арина Ивановна вслед за ним выбежала, и большой шум поднялся в девичьей: то слышно крик – Арина Ивановна кричит, то протяжно мужичок говорит... Барышня сидит, свою губку прикусивши, и на меня поглядывает, а я свой мешочек развязываю. В том мешочке были две замашные рубашечки, да глиняная уточка, да пряничек медовый...

– Покажи, покажи, Игрушечка, что тебе мать прислала, – говорит барышня, подсаживаясь ко мне, и так все оглядывает, осматривает...

Вошла Арина Ивановна и насмехаться стала:

– Ну, уж рубашечки! Из паутиночки ткани! да при госпо-

дах и носить-то нельзя таких: дотронется как барышня, то и ручку себе обдерет. Дайте-ка я их зашвырну куда подальше!

Уж где у меня и сила взялася, где и храбрость! Не даю, борюсь.

– Арина Ивановна; идите прочь! – крикнула барышня, – идите прочь! – И прогнала ее опять из детской, сама опять подле меня села. Долго я над своим гостинцем плакала, а она все на меня поглядывала, призадумавшись. Переждавши, пришла опять Арина Ивановна.

– Что вы, Зинаида Петровна, так заскучали? – спрашивает барышню.

Барышня вздохнула и на меня пальчиком показала:

– Она все плачет по своей маме; она к своей маме хочет!

– Да пусть себе хочет! Чего ж вам-то беспокоиться. Не хотите – не пустим, мой ангел, вы не беспокойтесь!

– А плачет?

– Мало чего нет! да вы ведь ее взяли себе в забаву, вы ее госпожа, мое сокровище, что с ней захотите, то и сделаете: плакать прикажете – плачь! прикажете веселиться – веселись!

– А как она не станет?

– Не станет! Да мы ее так проучим, что она у нас шелковая будет!

– Мне жалко Игрушечку!

– Вот то-то и есть, что вы всё жалеете! И проку из нее не будет... Вы не жалеите!

– Жалко Игрушечку! – твердит барышня. – Жалко Игрушечку!

– Говорю, перестаньте жалеть – перестанет она и плакать, и всю ее блажь как рукой снимет...

Все это говорится, а я слушаю... слушаю, а слез не могу сдержать – лютяся...

Вот барышня личико насупила, бровки нахмурила, надула губки и подступает ко мне грозно:

– Игрушечка! чего ты скучная? сейчас веселись! Ну, веселись! Я тебе приказываю, я твоя госпожа – веселись!

– Ах, ах, голубчик вы мой! – едва промолвит от смеху Арина Ивановна. А я, глупый ребенок, слезами заливаюсь горькими.

– Веселись, Игрушечка, – приказывает барышня: – веселись и маму свою сейчас забудь. Слышишь, что я тебе приказываю? Ну, забыла свою маму?

– Нет, – говорю, – не забыла!

Арина Ивановна ко мне:

– Да ты смеешь ли так барышне отвечать, а? что? Ах ты, грубиянка! Велят тебе смеяться – сейчас у меня смейся!

Смеюсь я перед ней, слезы свои горячие глотаючи...

– Ну вот, видите, мой ангел, она и смеется, – утешает барышню Арина Ивановна.

А барышня глядит на меня такими-то пытливыми глазенками...

– Игрушечка! – говорит. – Как же ты и плачешь и смеешь-

ся, а я вот не стала б.

– И, голубчик, равняйтесь с кем! – ей на это Арина Ивановна. – Ей что прикажут, то она и может.

– Вот, Игрушечка, ты какая, – проговорила барышня, – вот какая!..

С той поры часто она, бывало, меня страшит:

– Игрушечка, не скучай! Ты знаешь, я все с тобой могу сделать; я тебя ведь баловать не буду – ну вот велю сейчас волка позвать и прикажу, чтобы тебя волк съел. Волк ам-ам! и съест, а я жалеть о тебе не буду и отнимать у волка не буду.

Шло время да шло; и год прошел. Раз чем свет будит меня Арина Ивановна. Я вскочила.

– Оденься поскорей, в церковь со мною поедешь, – говорит, – да по матери по своей панихиду отслужишь.

А я никак в толк не возьму, голова у меня кругом пошла. Умерла? когда?..

– Чего смотришь? – толкает Арина Ивановна. – Сбирайся, говорят, скорее, пока еще барышня не проснулась.

Вертела она меня, и совала, и теребила, и все над ухом твердила: «Не помянешь покойницы матери, бог от тебя отступится».

Посадила меня с собою в бричку и повезла. Билось, билось мое сердце и замирало, будто я ждала кого-то... да все тихо по полям было, белели они под росой, солнышко еще не всходило, из-за лесу холодноватый ветерок тянул.

Подъехали мы к церкви. Вышли – церковь пуста; один се-

дой пономарь прошел, крестячись да зеваючи. Арина Ивановна прикладываться пошла к образам и мне махнула: «Иди!» И я за нею пошла. Стали собираться и священник и дьячки. Стали по матушке моей панихиду служить. Я была словно в каком-то тумане. Дым от ладану клубился, в дыму свечи мерцали; два старичка-дьячки пели разбитыми головами, и тихо их пенье по церкви дребезжало. Арина Ивановна стояла впереди, все на меня оглядывалась и все мне грозила; чужие люди в церковь собирались на обедню, на меня смотрели, вздыхали и крестились... «Умерла матушка!» думаю, а слез у меня нет...

Отошла и обедня. Народ повалил из церкви и рассыпался по дорожкам да по тропинкам. Сколько голосов шумливо смешалось! Арина Ивановна около церкви просталась с молодой дьячихой и на меня ей показывала:

– Вот, – говорила, – приказала ей по матери панихиду отслужить. Без меня так бы покойницу мать и не помянула.

А дьячиха мне нараспев:

– Что ж, тебе родной матери-то не жалко, что ли? Ах, грех-то какой!

– А я ей еще и не говорила, долго все думала: вот разголлосится; она и слезки не выронила. Силой почти и в церковь-то привезла!

И дьячиха опять нараспев:

– Ах, грех какой! бог вас за это не оставит, Арина Ивановна, вас бог не оставит!

Поехали мы домой... Солнышко уже высоко взошло. Опамтовалась я и тогда-то уж досыта наплакалась. Боже мой! господи! какая тоска мою душу сжала! какая печаль!

А бричечка по дороге турчит, катится. Арина Ивановна меня бранит, да урекает, да грозитя. «Отчего в церкви не плакала, полоумная! Теперь только хватилась! Вот я тебе дам слез!» Барышня увидала меня, сейчас заметила.

– О чем Игрушечка плакала?

– У ней мать умерла, – ответила Арина Ивановна.

– Отчего умерла?

– Оттого, – говорит Арина Ивановна, – что Игрушечка не слушается, что девчонка злая, упрямая, так вот бог у нее маму взял.

– А я-то не слушаюсь? – промолвила барышня.

– Да вы барышня, как же вам с нею равняться, мой голубчик!

– Мне бог простит? – спрашивает барышня.

– Помолитесь хорошенько, то и простит, мое сокровище; бог милостивый, бог всех любит.

– А Игрушечку не любит?

– Ну, Игрушечка глупая, упрямая, за то и бог не любит ее, за то и наказывает.

– А добрым все можно? Бог их ни за что не наказывает? Никогда?

– Никогда. Добрый человек хоть и согрешит, то все так себе... а злой человек все по злости делает, вот и нет ему

прощения.

– Смотри ж, Игрушечка, – говорит мне барышня, – ничего не делай по злости, будь добрый человек, все тогда тебе можно и все тебе бог простит... ..

Господа наши жили и весело и шумно. Гости почти со двора не съезжали. Дом был высокий, поместительный, веселый на горе стоял. Кругом дома всё сады, цветники, теплицы и широкая лестница каменная под гору, а под горою речка бежала, на речке пристань с флагами для причалу, и плавали лодки под парусами, а на парусах гербы барские вышиты. За рекой, по горе отлогой, чернелись избушки, а на самой вершине реденький березовый лесочек зеленел; а там, куда ни глянь, далеко-далеко чистое поле стелется, ровное... Часто, бывало, господа и наши и чужие глядят на ту гору, на избушки ветхенькие – которая покосилась, другая в землю вырастает, – глядят да друг другу говорят: «Вот, говорят, русский настоящий вид! Только у нас такие виды печальные!» Чей-то барин, усатый да плечистый, все, бывало, при этом себя в грудь бил руками: «Родное, родное!» приговариваючи. Очень он яро это приговаривал.

Господа наши были молоды. Нашу барыню все красавицей величали. Такая была высокая да статная, чернобровая, белая, только ленивая. Господи! какая она уж ленивая-то уродилась! И глянет на тебя-то вполглаза. Всей работы у нее было, всего дела, что из горницы в горницу плавает, склонивши головку набок, и длинным своим платьем шелковым

шуршит. Оживится немножко она, разве как гости наедут, говорливые, да веселые, да осудливые. Поднимут на зубки и чепчики разные и генеральшу московскую, поахают об городе Париже да побранят свой уезд, – тогда и наша барыня головку поднимет и заговорит себе громче. Барин поживее ее был, веселые песенки все певал да насвистывал. Говорили, что не башковит он, ну да зато смирен был; с барыней они жили согласно. И она была барыня добрая. Никого они не корили, не казнили, они и сердиться-то редко сердились. Приди кто из людей с какой просьбою к ним – ничего, не выгонят, разве только пускать не велят, коли докучило, или пообещают, да не сделают – забудут. Жили да поживали наши господа довольны да веселы, мирны да спокойны. Вот это сидят, бывало, в гостиной; барин свистит, а барыня глазками по горнице поводит, и вдруг ей в голову пришло: «Мой друг, – говорит барину, – а ведь голубые-то обои были бы лучше в гостиной!» Барин так и вскочит горошком. «Душечка! какая мысль тебе хорошая пришла! Где у меня-то рассудок до сих пор был?» И давай себя по лбу ляскать. «Ну, такого дела откладывать нечего, сегодня же в город пошлем, а к воскресенью чтобы все готово было». – «Да, да! – подхватит барыня, – приедет Анна Петровна и Клавдия Ивановна, – вот удивятся-то, а уж Анна Федоровна так рассердится, что за обедом ничего есть не станет. Непременно к воскресенью, мой дружок!» И примутся хлопотать, примутся суетиться. В страхе эти дни живут: все им чудится, что кареты во двор

въезжают. «Ох, кто-то приехал, кажется!» – говорят, а сами в лице меняются. Удивить хотят, видите, и вдруг если б застали, что стены ободраны. А иных тревог, других забот у них, кажись, и не бывало.

Никогда я не видала, чтобы барин наш призадумался, чтобы барыня всплакнула – нешто безденежье или барышня захворает. А безденежье их часто пристукивало.

Любили они оба и жить роскошно и наряжаться богато. Барыня все шелковые розовые платья носила да в тонких кружевах ходила. Барин тоже щеголь великий был: шейный платочек все голубиным крылышком завязывал, да, бывало, иной раз с утра до самого обеда бьется и не сладит. «Вот день-то несчастный выдался! вздохнет.

Никак не слажу!» И барыня к нему тут на помощь придет, и Арину Ивановну кликнут, да словно к венцу прибирают: все около него в заботе такой, в хлопотах. А уж как вырядится он – таким брындиком выйдет, перед зеркалами останавливается да так приятно на себя поглядывает и рукой все себя по щеке поглаживает... Это еще все бы не разор был, если б только не меняли они всего до ниточки каждый год по сколько раз. Мало ли на один дом шло? И к рождеству и к святой, бывало, весь обновляют. И как уж весело тогда барин хлопочет! Сам картины прибывает... Ведь чудно покажется, как сказать, а скажу правду: до страсти любил он гвоздики вбивать, и случись, что по усердию кто ему этим услужить поспешит, то так огорчится... Потом уж все так и знали, са-

ми не брались никогда, а ему приготовят молоточек. И правду тоже надо сказать, что уж никто так гвоздика не вобьет: так он наловчился, что только глянет, и потрафит куда надо гвоздику. Поедут ли в город господа, чего они не накупят! И самоваров навезут и сушеного горошку, а дома под самоварами в кладовой полки ломаются, и горошку садовники на целый год запасают; повезут они обои штофные, каких-то рыбок горьких в банках, табакерки с музыкой... Разносчики ли наедут – купцы хитрые, зоркие, – сколько они денег оберут! «Не берите, батюшка, – говорят барину, – это очень дорогое, вы вот себе подешевле возьмите». Барина словно подождет: «Подавай мне самое дорогое!» Да и купит такое ж самое втридорога. Еще, бывало, и сдачи не возьмет. И поглядывает на купцов бородатых: вот я вам пустил пыли в глаза! а купцы от радости даже вздыхать почнут... А как именины справляют или рождение? Пойдут тут сборы да приборы такие, сохрани боже! И вина выписывают, и конфеты выписывают, и шаль и чепчик барыне, и шейный платочек и желтые перчатки барину... «Да уж кстати, будут посылать, говорят, то выписать и то, и вот это б выписать, и пятое, и десятое»... Да так наберется, что на почту телегу надо посылать. Хоть много им утехи на именинах бывало, да много ж и хлопот и тревог не мало: ведь совсем измучатся, пока отбудут, ходючи да думаючи тяжело: что лучше к обеду подать? да как цветы уставить? да чем генеральшу б удивить и покойного ее сна лишить?

Изморятся, бывало, словно на барщине. А никому уж столько дела тогда не бывало, как Арине Ивановне. Еще недели за две ее в город туряют: то одно забыли, то другое вспомнили, а там уж ей дома беда начинается. Только она утром глаза откроет, уж ей поваренок из двери чашку просовывает: «Пожалуйста муки!» Выглядывает птичница; молочница тоненько покашливает, чтобы не очень рассердить...

«Ох, нет на вас пропасти! – кричит Арина Ивановна. – И богу-то помолиться не дадут порядком!» Наскоро перекрестится, накинет платок на плечи, и целый день бегать ей, да хлопотать, да сердиться... Господа тревожились, да и веселились, а Арине Ивановне на званых-то обедах, надо думать, ей не очень весело бывало: сидит она себе в самом конце стола в своем чепчике с желтыми лентами, и никто на нее и не глянет, никто с ней не заговорит, нешто воды налить попросит...

Присмирееет она тогда и словно запечалится, задумается... а гости так и жужжат около нее за столом.

Пир у господ за пирами, а тут глядь – денег нету. Вот сядут тогда они в гостиной и сидят, приуныли. Один в окошко глядит, другой в другое; «ах-ах-ха-х!» – ахают. А прошла беда, продали или заложили деревеньку, денежки зазвенели опять, и опять обеды званые, гости нахлынули, пир горой, и весело живется, и хорошо им.

На эти пиры, на угощения много деревень с рук сплыло... И Тростино мое родное.

Кажись, ведь ни роду, ни племени там у меня, да и ни лица-то знакомого, а жалко-жалко было, и слезно я плакала, и живей мне былое время припоминалось...

– Игрушечка, о чем ты плачешь? – спрашивает барышня. – Полно оглядываться, не бойся никого, говори!

А я оглядываюсь, не слушает ли где Арина Ивановна.

– Скажи, о чем плачешь?

– Так, – говорю.

– Игрушечка, милая, скажи мне, какое твое горе? – говорит, а сама мне ручку на плечо положила и в лицо мне заглядывает.

– Ах барышня, барышня! – отвечаю. – И на что вам знать, что мое за горе!

– На то знать, что мне тебя очень жалко, Игрушечка! – говорит.

Я на нее поглядела. Глаза у ней такие тихие, и личико отуманилось.

– Барышня, милочка! продали Тростино!

– Какое Тростино, Игрушечка?

Она и не знает. Вот я ей рассказываю, и жалуясь, и плачу, а она все мне: «Говори, говори, Игрушечка!» – Да что ж больше говорить? Я все надеялась, все ждала, авось когда поедут господа в Тростино, – хоть гляну да вспомню былое, – а теперь продано, не видать мне его и не слышать об нем!

– На что продали Тростино, Игрушечка? Ты не знаешь?

– На пиры деньги понадобились, то и продали, – отве-

чаю. – Так я в девичьей слышала, толковали. Кто-то в нашей избушке жить теперь будет!

Хоть Арина Ивановна дразнит меня, бывало, что избушка наша давным-давно завалилась, я хоть часто плакала от ее слов, а все не верила ей. Мне казалось, что и ветшать-то избушке той не приходится. А барышня слушает мои речи да задумалась, задумалась. Сидела она на ковре, ручкой головку подперла, и в каких-то мыслях тихих и важных.

– О чем, барышня, вы задумались? – спрашиваю.

– Так, обо всем, Игрушечка.

– Да о чем же обо всем?

– Да так, – отвечает, – как это все на свете делается!

– Да что?

– Игрушечка, – говорит, – ты замечаешь ли, что когда одни плачут, другие смеются; одни говорят одно, а другие опять совсем другое... Вот ты плачешь, что Тростино продали, а мама и папа всегда в радости, когда деньги получают... а, Игрушечка? – Да вдруг в тревоге такой ко мне – Да нельзя разве, чтобы все веселы были? Нельзя, Игрушечка?

– Видно, нельзя, – говорю.

– Отчего ж?

– Да не бывает так... вот ведь и мы с вами, все мы вместе, а мысли у нас разные приходят...

– Да отчего ж так? отчего?

Я что сказать ей не знаю...

Тут Арина Ивановна шасть в детскую, мы смолкли.

– О чем щебетать изволили, сокровище мое? – спрашивает у барышни. – Уж не сердитесь ли, мой голубчик? щечки-то у вас горят.

Барышня ей ни слова в ответ и отошла от нее.

– Да что ж это вы от меня таитесь, голубчик мой, от своей Арины Ивановны-то?

Скажите, скажите!

– Арина Ивановна! я вам не хочу ничего говорить, – ответила ей барышня и строго так-то на нее глядит и прямо, что смешалась Арина Ивановна. Не прибрала, что сказать, что сделать, да на меня напустилася:

– погоди, погоди ты, змейка! – грозитя. – Я вот барыне все скажу; я тебя на свежую воду выведу, погоди!

И побежала к барыне.

– Барышня, – говорю – что мне делать? Нажалуется на меня Арина Ивановна.

– Не бойся, Игрушечка, я за тебя заступлюсь.

Двери отворяются, барышня еще мне кивнула – не бойся. Вошла барыня, за нею барин, и сели по креслам и слотрят на барышню и на меня, а Арина Ивановна из-за дверей головку выставляет, точно змея жальце свое. Господа поглядели, поглядели и спрашивают у барышни:

– Зиночка! что такое было? О чем ты с Игрушечкой говорила? Поди ближе и скажи маме.

– Говорили, что одни люди плачут, а другие люди веселы.

– Что, дружочек?

Удивилась очень барыня, и барин во все глаза глядит, а барышня опять:

– Что одни люди смеются, а другие в слезах.

Барыня с барином переглянулись, и оба на барышню посмотрели.

– Ну, скажи, мама, – заговорила барышня, – скажи мне, отчего это так на свете?

Вскочила она к барыне на колени, обнимает, и прижимается к ней, и в глаза ей глядит – ждет слова, от нее заветного, а барыня ей в ответ:

– Умные дети, мой дружочек, никогда не плачут.

– А бывает же скучно, мама, и умным, бывает чего-то больно, будто и скучно...

А барыня:

– Умные дети, дружочек мой, всегда веселы.

– Ах, боже мой, какая ты, мама! Ну, глупые скучают, плачут – разве уж тебе их совсем и не жалко?

– Глупых детей наказывают, Зиночка, – отозвался барин, взявши себя за подбородок, – и они сейчас умнеют...

– Да Зиночка у нас умница, – говорит барыня, – она никогда у нас не скучает, никогда не плачет. Это какой-то мужичок иногда приходит, под окном у нее плачет, а Зиночка умница.

Поднялись и пошли себе. Выходя, говорит барыня Арине Ивановне:

– Вы напугали меня, Арина Ивановна, я думала бог зна-

ет что такое, а вышло пустяки такие, что даже и понять-то трудно.

– Да вы напрасно Игрушечку не изволили допытать...

– Полноте, Арина Ивановна, пусть себе болтают что хотят.

Зиночка у нас умница!

Зиночка умница! – к барышне опять обращается барыня...

А у хваленой умницы такие-то глазки печальные да тоскливые, что вот-вот слезы покатятся, и вздохнула она тяжело.

Арина Ивановна все не спокойна была, и долго она меня после этого душила: скажи да скажи, о чем тогда говорила с барышней.

Барышня все больше ко мне привыкала. И то сказать, что мы ведь всё вместе с нею были. Утром, бывало, проснется барышня, оденет ее Арина Ивановна и поведет к господам здороваться, и я за ними следом иду. Господа за чаем сидят. «А, Зиночка пришла! А ну, Зиночка, присядь!» – говорит барыня, а барин какое-то чудное слово, не русское, велит ей сказать. После того барышне чаю нальют, а мне крайчик хлеба белого кинут, да и отпустят нас в детскую. Случится ли, что господа сами в детскую придут, то ненадолго. Сядут да и смотрят на барышню, любуются, усмеваются. «Любишь меня, Зиночка?» – спросит барыня. «Люблю», – ответит барышня. «А меня, Зиночка?» – спросит барин. «И тебя люблю». – «Смотри-ка, ротик у ней какой миленькой!» – поймает барыня за бородку барышню, да и кажет барину. «А глаз-

ки? – ответит барин, – а ручки-то? а ножки-то?» Обцелуют ручки, и ножки, и ротик, и глазки и уйдут себе...

Арина Ивановна день-деньской хозяйством занята, одни мы себе в детской играем...

Барышня скоро от игрушек отстала – разве уж какую мудреную очень купят, что или звенит, или вертится, – разве такая ее забавит; станет она доходить, как это все сделано да сложено. Любила барышня больше размышлять, да говорить, да слушать. Бывало, подсядет ко мне: «Игрушечка, скажи мне, как ты прежде жила?» Я ей рассказываю, что помню, а она сидит смирнехонько, тихохонько и, ушки наостривши, слушает, слушает... И об чем уж она ни расспрашивала: как землю копают, и как конопли растут, и как их берут, и как крыши кроют, и как холст ткут... Ну, я-то что сама слышала, что на мой глупый разумок детский взбредет, то и горожу ей, бывало. А она так все замечает; глаза у ней такие пристальные, внимательные – точно ей вот это все не нонче, завтра надо самой и уметь и делать... И случилось, что так меня обнимет она крепко и говорит мне: «Игрушечка? я б сама не дошла, как все это делается. Кто ж у вас додумался, Игрушечка?» – «Да я не знаю, – говорю ей, – кто додумался, а все у нас умеют». – «Может, твоя мама, Игрушечка?» – «Может», говорю.

Прелюбопытная, препытливая была барышня. Бывало, как на нее найдет – засыплет расспросами да вопросами: на что это? как то? почему так? зачем этак? Ну, барыня была

ленива, чтоб ей что толковать, сейчас на нее тоска напала:

– На тебе конфетку, Зиночка, да иди себе играй, мой друг!

– Я не хочу твоей конфетки, а ты мне расскажи то и то, – говорит барышня.

Помню, один раз спрашивает она: «Мама, отчего все птицы не говорят?» Барыня уж видит, к чему дело клонится, – вздохнула тяжело.

– Вот, – говорит, – вот, Зиночка, ты уж опять пошла с расспросами!

– Да ты скажи, отчего все птицы не говорят?

– Не умеют.

– Отчего ж попугай умеет?

– Попугай ученый.

– Отчего других не учат?

– Ах, мой дружок, кто ж их знает! Вот у мамы голова уж болит. В Москве, кажется, ученых птичек продают, поедем – я тебе куплю. – А сама к дверям норовит. Барышня за Москву ухватилась.

– Постой, мама, где Москва?

– Далеко, мой друг, очень далеко –пусти меня.

– Какая это Москва? расскажи.

– Большой город; много игрушек, много конфет продают для умных деточек.

– А еще что?

– Улицы большие, дома, –пусти, дружок!

– А кто Москву построил?

– Не знаю, мой ангел, ей-богу, не знаю. Да тебе-то на что, кто б там ее ни построил?

Барышня все за полу держит, задумалась и вздохнула.

– Ах, мама, – говорит, – отчего это ты все не знаешь да не знаешь?

А барыня ей:

– Одному богу известно, в кого ты любопытная такая!

– Мама! где бог?

– Ах, дружок! – ответила барыня в тоске великой: – да на небесах, а то где ж?

– Как же у него там на небесах?

А барыня проворненько юрк за двери. «Арина Ивановна! кличет: идите, займите чем-нибудь Зиночку».

Барышня и на глаза Арину Ивановну не пустила. Зашла себе в уголок и заплакала.

Потом к барину побежала.

– Папа! скажи мне, как у бога в небесах!

А барин сидел себе в креслах, какие-то картиночки переглядывал посвистываячи; вдруг, откуда ни возьмись, барышни, как из-под земли, перед ним: «Скажи, как у бога на небесах?» – а у самой слезы так и льются. Барин совсем оторопел.

– Оленька! Оленька! – кричит барыне – дай Зиночке конфет.

– Я не хочу конфет, – рыдает барышня: – ты скажи, о чем спрашиваю!

Барин ее за головку взял.

– Не болит головка? – спросил.

– Ну хоть скажи, кто Москву построил? – пристаёт барышня – расскажи мне хоть что-нибудь!

И так молит его: ручки сложила, припадает к нему. Барин пощурился, пощурился на стены, да вспомнить, видно, не вспомнил ничего.

– Давно кто-то построил. Теперь уж забыто, кто.

– Как же это забыто, папа? И все забывают?

– А ты как же думала? Разве все можно упомнить?

– О, папа! – говорит ему: – мне жалко забывать! Я бы все хотела знать и не забыть.

– Да что тебе пришло в голову, кто Москву строил? На что тебе?

– Так; знать хотелось, кто и какой был тот, что строил, – сильный, большой?

– Не знаю, – смеется барин: – ведь я его не видал. Может, великан, а может, с тебя. Хочешь, я тебе картиночку подарю – Москва представлена.

Поискал меж книгами и дал ей картиночку:

– Вот тебе Москва, поди-ка, рассмотри в детской. Барышня пошла от него.

Подержала в руках картиночку и отшвырнула от себя на пол. Поплакала себе еще потихоньку и притихла – задумалась, а играть с того вечера уж со мной не играла.

И часто она вот так-то всех дивила. Что дальше, то все

она пытливей да привязчивей, тут еще захворала да нравная такая стала, ничем ей не угодит никто.

Арина Ивановна ей и варений и печений, господа игрушек – «не надо! не хочу!» И от всего отворачивается.

– Да чего ж ты хочешь, Зиночка? – спрашивают у ней господа.

– Говорите со мной!

– Ну что ж? О чем?

– Обо всем!

Тяжело барыня вздыхает, глядячи на барина, а барин в ответ плечами пожимает – оба не придумают, как тут горю помочь. Нанесла ей раз барыня картинок разных и рада была, что барышня занялась ими, – а тут беда вышла. Попалась барышне картинка – гора огненная: «Что это? отчего огонь?» – «Это гора огненная», говорят. «Что значит огненная? Отчего бывает огненная?» – «Из земли огонь выходит». – «Отчего выходит?» – «Так, такая уж гора». – «Как так? Ну, пусть у нас огонь из горы выйдет». И пристала: «Скажи, отчего огонь», – и плачет и кричит. Барина позвали... «Зиночка, – говорит барин: – есть, дружок, такие горы, что вспыхивают; они далеко – а у нас горы простые». Рассказал-то барин хоть не понятнее, да вид у него был важней, чем у барыни. Ну, а барышня все-таки свое: «Скажи, отчего огонь у нас не вспыхивает, отчего там вспыхивает?» Барин и осерчал немножко: «Что это, Зиночка, пристала! Ты всех нас замучила».

Она ничего не слушает, разливается – плачет. Да стала

еще к тому хворать и шибко росла, просто не по дням – по часам росла... и все чудней становилась. То, бывало, по целым дням шумит, ко всем придирается, привередничает, и того хочу и другого хочу – ей всем угождают, – тогда она все бросает: «Не надо! мне скучно!» и плачет... А то бывало так: сидит она целый день, не шевельнется – думает, и как примется глядеть куда с утра, то до вечера глаз не отведет, на стену ли, в окно ли смотрит, и не видит, а говоришь с ней – не слышит. Чаше да чаще стало на нее находить... Господа очень сокрушались: и покою с нею нету, и что из нее выйдет, один бог весть. Давно еще они поговаривали, что надо Зиночке учиться, пора, да все собирались выписать ей учительницу, а тут уж они мешкать и откладывать не стали и говорят барышне:

– Зиночка! к тебе скоро тетя славная придет, станет тебя учить, – ты будешь умница? Ты ее слушаться будешь?

– Не знаю, – отвечает барышня. – Она-то меня тоже будет слушаться? Когда я буду о чем спрашивать, она от меня не уйдет, как ты? – говорит.

– Нет, мой дружок, она всегда с тобой будет, – убажает барыня: – она тебя всему научит, и ты будешь умная, умная девочка.

– Так я буду ее слушаться! – вскрикнула барышня. – А когда ж она придет?

– Скоро.

Барышне уж загорелось: что не едет да что мешкает. Ждет

не дожидется своей учительницы. Только у ней и речи что об ней. «Игрушечка! – говорит мне: – ты рада ей будешь? Очень рада ты ей?..» Не рассудит, какая ж мне-то радость? И кто ее знает, какова приедет...

Приехала немочка выписная. Смирная такая, молоденькая, беленькая и рукодельница великая: никогда она без работы не сидела. В будни шьет, в праздник чулок вяжет, и так вяжет, на память, не глядя на спицы, а сама книжку читает. Барышня ее встретила с радостью такую – так ей в глаза и смотрит. Принялась она за ученье немецкое, – что и засыпает, твердит уроки да слова немецкие. И скоро все понимать стала, Слушаючи, и я себе словцо-другое запомнила. Только не надолго наша барышня к немочке прильнула, не по ней она была совсем – всего боялась, на всем запиналась, мешалась; а барышня – к огню ее можно приподобить – такая была; еще ж и хворающая – так гневная и нетерпеливая. Начала барышня немочку гнать.

– Барышня, – спрашиваю: – за что вы всё на немочку сердитесь?

– Ах, Игрушечка! – отвечает, ручки свои сжавши: – она меня измучила! Я б ее и видеть-то не хотела!

– Да за что ж так?

– Ах, Игрушечка! ты еще не знаешь, какая она мучительница! Прошу ли ее: погодите читать, расскажите мне вот это, нет, никогда не позволит. Что мне придет в голову, так захочется знать поскорей, поскорей, а она: «Пишите! урок учи-

те!» Я плачу, я прошу – нет, никогда не послушает, не пожалеет! Я б ее очень любила, а теперь видеть не хочу!

Ну, думаю, на тебя трудно угодить! С тобою надо умеючи да умеючи! А немочка сама только что из детей выходила, где ей с такой быстроумкой справиться; да и от природы она тиха была очень и смирна и плоха-таки немножко. Немочке тоже не весело приходилось, частенько, бывало, всплакнет. Всем в доме ее жалко было.

Прежде Арина Ивановна очень косо на нее глядела, а там видит, что немочка и воды не замутит, утихла, только сердилась на нее, что по праздникам работает. «Через эту безбожницу, говаривала, и нам еще беда будет! того и гляди, что или пожар, или гром ударит, что у нас господни праздники не соблюдаются!» Да, слава богу, случая не было никакого. И то оказать, какой это грех работать? И сложа руки спасенья ведь нехватишь! И часто, бывало, Арина Ивановна спрячет у немочки работу в праздник, – та ищет, тревожится, не найдет никогда, вот и празднуй, хочешь не хочешь; а в пост не дает ей сливок к кофею... немочка все ничего, разве поплачет втихомолку. Что дальше, то бедной немочке хуже: барышня уж и вправду глядеть на нее не хочет. Увещала ее барыня, а у барышни весь ответ: «Отошли ее, мама, я ее не хочу видеть!» Раз, барышня уж почивала, кличет меня немочка, просит воды. Я ей воды подала, вижу, что у ней глаза опять заплаканы. Я и спрашиваю, то словом, то знаком, как умею, о чем она плачет? Залилась немочка слезами да

рукою показывает на детскую, «сердитая», говорит.

– Нет, – говорю я ей, – она не сердита. – Хочу ей растолковать, да не сумею.

– У вас же дети какие? – спрашиваю. Она меня поняла. Села прямо и чинно на стуле, глазки опустила и начала спицами перебирать проворно. – Послушные, рабочие дети у вас? – говорю.

– Да, да! – отвечает и пуще в слезы.

Еще она у нас пожила, потерпела и попросилась, чтоб ее отправили. Ее и отпустили.

Барышня сначала, кажись, и рада очень была, что немочка едет, а при прощанье вдруг затосковала, крепко так немочку целовала и все на нее глядела, глядела, глаз не сводячи. Все в доме об немочке жалели, а забыли ее скоро тоже все. Добра вот была и приветна, да чужа как-то: ни она по нас, ни мы по ней не пришлись.

Дольше всех ее барышня помнила и раз мне говорит:

– Игрушечка, всегда Каролина Карловна такая будет?

– Какая? – спрашиваю.

– Часовая.

– Как часовая?

– Да все у ней по часам, и сон и слова.

– Да, вашей бурливости от нее не дожидаться, – смеюсь, а барышня стоит и о чем-то раздумывает.

На место немочки привезли ей француженку, крошечную бабеночку, вертлявую, носик у ней ястребиный, глазки так

и бегают. Все она тихонько покашливала и ходила по горницам, высокими каблуками постукивая. А кланяться она так кланялась, что ни к кому спиной не оборачивалась. Барышня ждала ее – не радовалась. «Не приедет такая ко мне, как я хочу!» – говорила мне и встретила француженку угрюмо, да та ее сразу озадачила: бросилась обнимать, целовать, схватила на руки, зачастила словами, по-русски она говорила куда смешно. На другой день француженка в куклы стала с барышней играть и усы себе навела чернилами, – барышня все не поддается ей, только улыбается, будто нехотя, и глядит на нее пытливо, и говорит мне: «Игрушечка! какие разные люди-то бывают!» Билась, билась француженка, все барышня дичится.

Вечером вижу, француженка манит меня из дверей к себе. Иду. Она меня по щеке потрепала и дает мне старенькую ленточку, а сама шепчет: «Слушайся меня, я тебя буду дарить». А я молчу. «Ты всегда с барышней?» спрашивает. «Всегда». – «Как же вы играете, что барышня любит?» – «Разговаривать любит». – «Как так?» – «Любит, говорю, чтоб рассказывали ей все, а она чтоб слушала». – «Хорошо, хорошо, – шепчет мне, – говори мне все, что знать будешь, я тебя всем обдарю. Смотри ж, никому о том не скажи». И махнула рукой: «Иди». Я пошла от нее, да и думаю себе, барышнина слова вспоминаю, что каких-то людей на свете нет!

На другой день француженка в такие рассказы пустилась; без умолку говорит, говорит – барышня слушает и все к ней

ближе подвигается... Что долго рассказывать? В месяц она барышню совсем в руки взяла; слова ее слушается барышня, не отходит от нее. Господа радуются себе, что барышня повеселела, не знают, как им Матильду Яковлевну благодарить и чем; то и дело ей подарки, а Матильда Яковлевна руки к груди прижимает да приседает перед ними. Скоро она прибрала к рукам и барыню и барина: ее обо всем спрашивают, с ней обо всем советуются.

Арину Ивановну точило горе: невзлюбила она француженку, а видела, что та всем домом вертит и даже ее ненависти не замечает, а ненавидела ее Арина Ивановна всей своей душой; походку ее заслышит – изменится в лице. Да уж не прежняя немочка безответная это была, чтоб ее постным силой кормить – нет! с этой шутки плохие. Она сейчас к барыне и этак, шутя да смеясь, все расскажет, – веселехонько, хоть у самой на сердце кошки скребут. И зовут Арину Ивановну к барыне. Арине Ивановне выговор...

А мое житье какое было? Хоть по-прежнему я была при барышне, да уж была я одна-одинешенька; барышня совсем меня бросила, все с француженкой, все с Матильдой Яковлевной, а я с утра приду, простою у притолоки день целый, так меня и не вспомнит никто. И Арина Ивановна, и та пренебрегла тогда мной; она не заметит, стукну ли я, войду ли, не то чтобы, как прежде, надзирать за мною, следить. Правда, что она стала не такая нападчивая, – задумчива ходила и сурова, а тиха. То я, бывало, с барышней поговорю, то от

Арины Ивановны стерегуся, а тут я осталась уж совсем ни при чем. Сердце мое очень ныть стало... что некуда и не к кому мне пристать на всем свете белом... Сажу в каком-то я раз полусно и слышу, кличет Матильда Яковлевна и дает мне в руки свою шкатулочку. «Хочу, чтоб починили хорошо!» – говорит и показывает, что уголок отклеился. Я схватила эту шкатулочку обеими руками, да никого не спрашивая, опрометью, через сад, к столярной. У самой сердце стучит, вот будто я из темницы вырвалась. Бегу, бегу, а прибежала к дверям и оробела. Тихонько двери отворяю – вижу, там человек пять на работе: кто стругает, кто пилит, кто меряет; по окнам везде стружки, на полу тоже стружки ворохами навалены. Все ко мне обернулись, все на меня глядят: «Что ты? зачем ты?» Я показываю им шкатулочку. «Андрей, а Андрей!» – стали кликать, и вижу, высокий человек из боковой горенки выходит... Я его сейчас узнала, вспомнила, как он мне говорил: «Бедная ты девочка завезенная! выздоравливай-ка ты скорей!» Все такой же он был, и веселый, и кудрявый, и ласковый. И он меня узнал. «Ишь, как выросла, сказал, ну расти себе, расти!» А другие у меня шкатулочку уж взяли, ему показывают, разглядывают, спорят. Один там, бойкий такой, все он стоял подбоченившись. «Я, говорит, могу и получше этакой сделать».

А ему другие: «Да ты и такой не сделаешь!» – «Лучше сделаю!» Спорить опять начали. Андрей мне говорит: «Приди завтра за шкатулочкой, будет починена». – «Можно мне

стружечку взять?» спрашиваю. Он захватил полны руки тех стружек, да и обсыпал меня всю ими...

И целый день все я после думала, что вот завтра я опять пойду туда, и что завтра мне Андрей скажет, усмехнется ли, глянет ли, или он меня не заметит за работой?..

Ходила я, и он меня приветно опять встретил и сказал: «Собраться надо да тебе игрушечку какую сделать!» С той поры так меня и тянет туда, да не смею и скучаю. И что сделала. Держу я раз барышнину игрушку – барин ей привез домик, совсем настоящий домик, – верчу я тот домик да думаю: «Домик, домик! что бы тебе изломаться-то! а меня послали бчинить отдавать, и я б побежала... Что бы тебе, домик, рассыпаться!» а домик – хруп! да и рассыпался. Перепугалась я тогда. Не так барышни боялась, а что достанется от Арины Ивановны, что от Матильды Яковлевны будет. Стрелой я пустилась прямо к Андрею. «Что такое? Что?» спрашивает, а на мне лица нет. «Не бойся, не бойся, я почию, никто не узнает. Ах ты, бедненькая, как перелугалась!» Смеется...

Живем так-то, каждый с своею заботой, и вдруг замечать стали, что барышня совсем нравом изменилась, и опять на нее стало находить. То она от Матильды Яковлевны шагу не отступала, а то сторониться стала. Перестала ее спрашивать, почти и говорить с ней перестала. Подает урок, да и молчит целый день. Хочу, бывало, я к ней подойти, да не смею, боюсь Матильды Яковлевны, а барышня сама не позовет и, словно она никого около себя не замечает, сама с со-

бою шепчет.

Матильда Яковлевна совсем не та стала к барышне, суровой и строже; уж не то чтоб у барышни ручки целовать, как сначала, она уж и прикрикивать на нее стала. Как прибрала она господ к рукам, то ничего не боялась. Барышня долго терпеливо все переносила, что я только дивлюсь, а Арина Ивановна божилась, что француженка околдовала барышню. Спрашиваю я: «Барышня! очень вы Матильду Яковлевну любите, что вы все от нее сносите?» – «Игрушечка! – отвечает мне: – она рассказывает так хорошо и много, много всего знает. Может, она мне еще расскажет что...» И все сидит около Матильды Яковлевны, и тихо ждет, и тихо вздыхает... Матильде Яковлевне она надоела скоро; стала она от себя прогонять ее и стала над нею подсмеиваться... Раз Матильда Яковлевна уж очень с ней дерзко обошлась, накричала, набранила, и было барышнин нрав прежний проявился: вспыхнула она и заговорила так, что Матильда Яковлевна струсила и все в шутку обернуть захотела.

Барышня от нее отвернулась и ушла. Не говорит она с того часу с Матильдой Яковлевной, не подходит к ней. Матильда Яковлевна хоть спокойный вид на себя принимает, а крепко тревожится и все у меня выпытывает: «Что барышня? что говорила? С кем говорила?» Я вижу; что и барышня не спокойна: ухожу я от нее поздно вечером – не спит, ранним утром застаю – не спит. «Барышня! говорю, чего заботные такие?» – «Тяжело мне!» ответила. «Матильда Яковлев-

на вас огорчила?» И она опять: «Тяжело мне, Игрушечка!» Прошло сколько дней. Все барышня в тоске, и все, видно, душа ее волнуется. Одним утром прихожу, застаю, что она уже совсем одета, стоит подле окна. А лицо у нее было тогда такое, словно она кого одолела или решила, пошла на что. Быстро ко мне обернулась и спросила: «Матильда Яковлевна встала?» – «Нет еще», говорю. «Скажи мне, как встанет, сейчас же скажи, Игрушечка!» Я пошла, дождалась, пока Матильда Яковлевна встала, прихожу и говорю. Она изменилась в лице. Постояла середь горницы и пошла прямо к Матильде Яковлевне. Та сидела, чай в своей горнице пила около столика. Удивилась очень приходу раннему и пытливо глядит. Тихо подошла к ней барышня и тихо села около нее на скамеечке, как прежде садилась ее рассказы слушать, и сама так глядела она на Матильду Яковлевну, словно и корилась ей, и просила, и ласкалась... У Матильды Яковлевны глазки сверкнули – обрадовалась, только радость свою скрыла и едва глянула на барышню. Стала ей выговаривать и попрекать; барышня все белей да белей становится и молчит. Замолчала и Матильда Яковлевна сердито. Пыталась барышня с ней заговорить и такие тихие да ласковые ей слова говорила... Матильда Яковлевна все-таки ей надменно отвечала и грубо так... Приехали гости, за Матильдой Яковлевной прислали, она с собой барышню кликнула; та за нею покорно пошла. Гости спрашивают, чего это Зиночка изменилась?

И господа тогда вдруг перемену увидели, встревожились.

Матильда Яковлевна берет барышню за руку и середь гостиной ее выводит и давай рассказывать: что вот какая Зиночка упрямица была, да теперь сама хочет исправиться, вот сегодня прощения просила... «Да?» – спрашивает у барышни. Та чуть слышно что-то сказала; бледна она стояла и вся дрожала. Хотела уйти – Матильда Яковлевна не пустила, около себя посадила. Гости все стали тогда барышню хвалить, целовать, стали советы ей давать. Господа радуются, а Матильда Яковлевна все говорит им: «Да, вы недаром свою Зиночку на мои руки отдали!» Сказал ли кто слово лишнее или чем другим обидел барышню, только она пришла из гостиной словно больная и очень долго плакала... С этого дня отшатнулась она от Матильды Яковлевны навсегда, навек...

Спыхватилась тогда Матильда Яковлевна. Давай заискивать, всячески ухаживать, ублажать – ничего уж не помогло: только, бывало, посмотрит на нее барышня так, что будто и жалеет ее и брезгает ею... Матильда Яковлевна боялась, чтобы господа печали барышней не заметили, чтобы не вздумала барышня на нее жаловаться...

Барышня не жаловалась, только еще стала она задумчивее, очень поскучилась и часто плакала. И плачет, бывало, уж не по-прежнему, с криком да с сердцем, тихо себе плачет да горько... Все это замечала Арина Ивановна, и уж не раз она к барышне тайком пробиралась; ручки у ней целует. «Я ваша слуга верная, я!» – все твердит, а та и слушает и не слышит.

– Чего вы всё не веселы, все скучаете? Замучила вас, вид-

но, ученьем-то, мое сокровище? – говорит барышне.

– Да я ничему не выучилась и ничего не знаю, как же замучила? – ответит печально.

– Ах она, ехидная! – воскликнула Арина Ивановна: – сколько времени учит, а ничему не выучила! Да она нарочно ученье тянет, чтобы побольше пожить от папеньки, от маменьки... Да она обманщица лукавая!

И, верно, ее слова барышне западали в душу, все она печальней становилась. «Игрушечка! – часто говаривала, – никто нам правды не скажет истинной! Вот как, Игрушечка!» Матильда Яковлевна все видела, все знала, как Арина Ивановна барышне нашептывала, как к ней тайком прокрадывалась, видела, а молчала, будто не до нее дело, и весела была всегда и говорлива; хоть часто, бывало, с сердцов у самой ручки дрожат, а улыбается и глазки щурит ласково...

Минуло барышне четырнадцать лет. Тут уж и все стали замечать, что она умом мешается... забывать стала имена... Особенно начала она мешаться, как побывала на похоронах. Умерла в соседстве богатая барыня, и весь околоток зван на похороны. Пышно ее хоронили – такой ее последний завет дан детям, – и наши господа были и барышню с собой брали... Только она приехала, я сейчас заметила, что глаза у ней нехороши. «Игрушечка! – шепчет мне, – ты видала мертвых?

Понимаешь ли, что значит умереть?» Я хочу о другом заговорить, она меня не слышит и все себе твердит одно: «Живет человек, умирает человек; все живут, все умирают». И

кто к ней ни подойдет, она всем одно и то же... Ничем ее нельзя отвлечь от мысли той, ничем рассеять. Господа тогда перетревожились, послали за лекарем. Лекарь говорит: «Помешана». Помешательство, ее было тихое; иногда она как будто и в себя приходила. Слез ничьих не могла видеть, вся побледнеет, бывало, задрожит. Я ей говаривала: «Не тревожьтесь, барышня; со всеми горевать не станет вас». – «Игрушечка! – отвечала мне: – когда плачет человек, ты знаешь ли, как ему больно! А я знаю! я знаю, как больно!» Мало ей лекарством помогали. Стала она всех дичиться; потом стала от всех бегать, – тоска у ней безотходная была, ныла она да чахла. Перестала узнавать – ни отца, ни матери не узнавала. Кручинились господа. Громко Матильда Яковлевна вздыхала. Соседи приезжали проведывать, смотрели на нее из-за дверей, жалели, а она стоит середь горницы, думает, думает, словно хочет что-то припомнить, да не дается ей, и в муке великой она за голову берется... А то плачет горько, горько плачет по целым часам. Спрашивай – не ответит, не заметит или испугается – убежит. С горя по барышне и барыня хворала это время. Матильда Яковлевна все около нее, утешала, успокоивала, а я при барышне. На моих руках она и умерла...

В розовый бархатный гроб положили ее, сухонькую, худенькую, и такое у ней было личико заботное, такое печальное – вот, кажись, большие глаза откроются и в сомненье она станет спрашивать о чем-то...

После барышниной смерти барыня меня за собою ходить приставила. «Она за Зинойчкой ходила – я хочу, чтобы она и при мне была». А время своим чередом пошло, стали привыкать, слезы высохли, только вздохнут о барышне, как вспомнят, да поскорей речь о другом заводят, повеселей... Сняли черное сукно со стен: опять и шумно и весело в хороммах; опять господа обеда званые дают. Матильда Яковлевна все у нас живет, да и отъезжать, видно, не думает. Она с господами неразлучно; барыня только глаза откроет, уж Матильду Яковлевну кличет. Матильда Яковлевна и книжки вслух читает, Матильда Яковлевна и гостей забавляет, она ж их и осудит, и осмеет, и передразнит, как выпроводит. Вот это, бывало, по вечерам, если случится, что никого гостей нету, Матильда Яковлевна и почнет в разных лицах являться: то генеральшей войдет Чернихинской, ну совсем генеральша, так же и шаль по всему дивану распустил, чтоб никто рядом не сел, и посматривает так же строго на всех... то представит карачевскую барышню, что все вздыхает и платочком обмахивается... всех она, бывало, переберет, всех-то до единого. И очень господ этим утешала: так хохочут, что приходилось иногда обоих водой брызгать... А Арина Ивановна ночей не спит, в тревоге она да в сомненье: стала Матильда Яковлевна что-то часто в хозяйство вмешиваться, войдет к Арине Ивановне: «Дайте ключи!» – и, не дождавши слова ответного, возьмет сама и пошла по кладовым шарить. Барыне жаловаться было нечего, с каждым днем больше ее обходила Ма-

тильда Яковлевна. В обиде, в досаде, в тоске сидит себе одиноко в своей комнате Арина Ивановна; похудела и пожелтела; перестала к попадье в гости ездить, перестала и к обедне по воскресеньям ходить. С нами то вдруг ласковая такая, такая приветная, свои сны нам рассказывает, работой нашей не нахвалится, то вдруг раскритичится, разлутуется, все не по ней, все нехорошо, грозитя: и то и другое будет вам...

Если встретится с Матильдой Яковлевной лицом к лицу – всякое дело бросает, прочь бежит. А Матильда Яковлевна и не пускает, останавливает и своими словами ласковыми да приятными разобидит ее и до самого сердца дойдет, а за обедом льстивым голосом спрашивает: чего задумалася? здорова ли?

Побелеют губы у Арины Ивановны, глухим голосом она за внимание благодарит, а Матильда Яковлевна усмехается да шейку вытягивает. «Что, что? я не расслышала, говорит, что?» И благодарит ее Арина Ивановна в другой раз за внимание... А то помню, как подошла она к Арине Ивановне и приласкала ее: «Милая моя!», а сама ее по плечу потрепала, глазки прищуря с улыбочкой. Задрожала вся Арина Ивановна, и дух у ней занялся, не может слова вымолвить, глаза черные засверкали – а та на нее глядит все усмехаючись да легонько по плечу ее треплет...

Выговаривала Арине Ивановне барыня: «Что это вы, Арина Ивановна, всё такие скучные, – вы и на нас, милая, скуку наводите, да и смотреть вы стали так угрюмо. Заговаривает

с вами Матильда Яковлевна, вы едва отвечаете, как же это можно так, это невежливо...» Начала сесть Арина Ивановна...

Раз Матильда Яковлевна долго с барыней запершись в спальней сидела, и выбежала Матильда Яковлевна очень весела оттуда, прямо к Арине Ивановне. «Дайте ключи, говорит, дайте, милая Арина Ивановна моя, вы теперь уж будете на покое – поздравляю!» – «Как? – проговорила Арина Ивановна. Потом бросила ей ключи на стол: – Чтоб тебе добра не было, змея подколодная! а я тебе этого не забуду!» Матильда Яковлевна, как ни в чем не бывало, схватила ключи и побежала. Слышала ли она, что ей Арина Ивановна сказала, нет ли – кто ее знает.

– Поеду от вас, – говорит нам Арина Ивановна, – поеду, да нигде мою злодейку не забуду!

Пошла она к барыне: «Покорно благодарю за милости ваши, сударыня! Пусть вам другие лучше моего послужат!» А барыня ей: «Что это значит? Вы куда собираетесь разве?» – «Приказали ключи у меня отобрать, значит, я не надобна», – говорит Арина Ивановна. «Полноте! Я это сделала для Матильды Яковлевны – ей хотелось похозяинничать, а вы все-таки оставайтесь у нас; зачем вам уезжать? Да мы привыкли к вам, и вдруг вас нет – останьтесь, Арина Ивановна, останьтесь.

Будете Матильде Яковлевне помогать». Подумала-подумала Арина Ивановна и осталась.

Прошло после этого месяцев, может, с пять. Матильда Яковлевна на целый дом ключами гремит и свои приказы выкрикивает. Арина Ивановна с утра до вечера в своей горенке, редко и к обеду выйдет, все жалуется: «Больна! неможется!» И глянуть на нее – иссохла, извелась; в лице у ней ни кровинки, или уж огнем щеки горят; глаза у ней беспокойные, блестящие... А Матильда Яковлевна то ей варенья с ложечку пришлет, то сливок в чашечке на доньшке... Слуги-то меж двух огней; и не понести боишься: Матильда Яковлевна пошлет да сама за дверями слушает – отдашь ли; и подать боишься, что Арина Ивановна посланцев неласково принимает – чем попало им в голову, а приношение об пол. Так-то было сначала, потом Арина Ивановна не то присмирела, не то сама гневом своим утомилась, – только глянет да головой кивнет...

Так мы петрова поста дождали. Петровками на первой неделе, в ночь, внезапно Матильда Яковлевна захворала: кричит, вопит, – весь дом подняла на ноги. Скорей за лекарем – нету, на следствии; за другим – к какой-то барыне в чужой уезд взяли; а Матильда Яковлевна не своим голосом кричит: «Умираю! умираю!» Ей и припарки и примочки – хоть бы что помогло. Все в тревоге большой, в страхе, только Арина Ивановна из своей комнаты не выходит. Побежала за ней.

– Сама больна! – ответила.

– Матильда Яковлевна умирает! – говорю.

– Туда ей и дорога!

– У вас лампадка потухла, зажечь?

– Не надо. Иди себе.

Как лежала лицом к стенке, так и не обернулась.

Барыня заметила, что ее нету. «Что это значит, отчего не пришла Арина Ивановна? где она? Позовите ее». Тогда она пришла, бледна очень, завернувшись в черный платок. «Арина Ивановна, – к ней барыня. – Что тут делать? как быть? Не стыдно ли вам, что стоите вы как каменная, ни за что не возьметесь, не поможете? ведь она может умереть!» – Я ее от смерти не спасу, сударыня, если ее час пришел! – так-то мрачно ответила, что барыня примолкла и только охнула. А Матильда Яковлевна как увидала, что Арина Ивановна подходит, руками замахала на нее и закричала: «Не подходить! не подходить ко мне!» Как стала в углу Арина Ивановна, недвижно целую ночь простояла. К свету Матильда Яковлевна померла... Стоят все над покойницей, и тужат, и дивятся, что вот смерть-то скорая да неожиданная. Подошла и Арина Ивановна, на нее поглядела, а перекреститься не перекрестилась и прощаться не стала. Барыня плакала и Арине Ивановне говорила: «Ах, Арина Ивановна, как жаль-то ее, как жаль! Распорядитесь похоронами, хороните ее поскорее – я сама боюсь заболеть от грусти!» И приказ отдала никогда к столу грибов не подавать – говорили, что смерть Матильды Яковлевны от грибов: она всегда приказывала для себя особенно к ужину грибы готовить и того вечера ими ужи-

нала. Похоронили Матильду Яковлевну, а добро ее все ба-
рыня Арине Ивановне отдала.

В сумерки пошли мы перетаскивать сундуки к Арине Ивановне в горницу; Арина Ивановна и промолвила: «Хотела, молвит, ты у меня кусок хлеба отбить, хотела меня выжить, да вот сама в сырой земле лежишь! Теперь на моей улице праздник!» И усмехнулась.

«Запирайтесь, двери, запирайтесь! – приговаривает, хлопываяючи двери: – пустей, горенка замкнутая!» Да вдруг как вскрикнет не своим голосом, мы чуть сундук не упустили – оглянемся, она бледная как смерть, вся дрожит. «Что такое? что такое?» Никак от нее не добьемся и от дверей ее оттащить не можем. «Поймала меня, не пускает, поймала!» – шепчет Арина Ивановна и в ужасе великом крестится рукой дрожащей. А то она сама свое платье дверью прихлопнула, да примстись ей, что ее покойница поймала. Ну, огляделись, успокоились, посмеялись. Усмехнулась и сама Арина Ивановна, да не душевно она усмехнулась, и видели мы, что все она крестится, и молитвы шепчет, и вздрагивает, и озирается...

Вечером сидим мы, девушки, за работою в девичьей, а колокольчик динь-динь беспрестанно: все кличет Арина Ивановна то за тем, то за другим. То спросит, не идет ли дождь, то воды велит подать, то кошку ей принести. «Что это Арина Ивановна сегодня раззвонилась?» – говорим меж собой. На другой вечер опять поминутно кличет. Две свечи горят у ней

в горнице – когда это видано? Вздумала нитки мотать и меня держать моток позвала. Я стою да со скуки гляжу ей в лицо. «Какое мрачное у ней лицо-то!» думаю. И все она к чему-то, прислушивается, все ее словно дрожь пронимает, и то и дело со свечей снимает. «Тускло как горят, слепые свечи!» – все приговаривает. А свечи были как свечи и горели ярко.

– Игрушечка! – говорит она мне и усмехается, да так усмехается, что мне чего-то ее жалко стало, сама не знаю чего, а стало ее жалко – Игрушечка, расскажи ты мне сказочку какую-нибудь!

– Я не знаю, не умею, – ответила я ей.

Она замолчала и опять мотает. Много мотков в тот вечер она перемотала. Пробил первый час.

– Поздно! – говорит. – Как скоро эти часы бегут: не успеешь оглянуться, уж и ночь. Ну, Игрушечка, ступай себе. Да постой! Что, ты все еще боишься в чуланчике спать?

– Нет, – говорю, – привыкла.

– А то приди-ка ты ко мне ночевать. И тебе б веселей, да и мне прислужишь случится, вот вчера кликала, кликала воды подать, никого не добудилась. А у меня сегодня что-то голова болит.

Принесла я свою постелю в ее комнату, жду, что она ляжет, что свечи погасит. Она легла, а свеч не погасила. «Не надо, говорит, пусть их горят. У меня что-то голова болит – не спится». А сама все бледней да бледней, все вздрагивает да крестится, и на меня такой страх навела, боюсь, хоть са-

ма не знаю чего. И до света мы с ней глаз не сомкнули. На другой день все на Арину Ивановну люди поглядывают, перешептываются, дивятся; она заметила. Вечером опять прихожу. «Иди себе, говорит, сегодня мне получшело». Я и пошла в свой чуланчик. Только я глаза свела – так страшно кто-то закричал, что я опрометью бросилась в девичью, а оттуда мне навстречу уж бегут, свечи зажигают, суется, все перепуганы.

Случилось что-то с Ариной Ивановной. Вбежали к ней – она вниз лицом на своей кровати лежит, как мертвая. Мы ее подняли, воды дали напиться; пришла она немного в себя. «Садитесь, садитесь», – сажает нас на свою кровать. Мы только смотрим друг на дружку, дивно да чудно нам, а Арина Ивановна то к тому, то к другому прижимается, как малое дитя. «Не уйдите вы от меня, не уйдите! просит, не покиньте!» И господа услышали, потревожились, звонят в колокольчик: что такое? кто кричал?

– Арине Ивановне что-то приснилось, Арина Ивановна кричала.

– Да что ж ей приснилось?

Тогда и говорят, что, верно, ей покойница Матильда Яковлевна привиделась.

– Какие пустяки! – вскрикнули господа: – вот выдумки несообразные! – А у себя, приказали сейчас же лампаду зажечь... С тех пор как вечер, так Арина Ивановна и скликает нас и рассаживает вокруг себя.

Днем еще ничего, и по хозяйству похлопочет, а как вечер – беда. И плачет и дрожит. Ночью у ней свечи не угасают и девушки очередуются, не спят при ней. То белое ей в окне мелькает, то чья-то ей походка слышится, то дунет кто-то ей в лицо холодом, то чудится, что-то в уголку шевелится, то за собой смех слышит.

Стал слух носиться между людьми, что покойница к Ари-не Ивановне по ночам ходит и мучит ее за то, что смерти ее радовалась; много было об этом толков, много домёков... да ведь всего-то не переслушаешь, что люди говорят... только что на всех страх нашел; сами господа хоть днем и посмеивались и бодрились, а к вечеру начинали прислушиваться да оглядываться... Двери в той горнице, где Матильда Яковлевна жила, забили наглухо и каждую субботу покойницу в церкви поминали...

Понемногу стали успокоиваться – не находила покою одна Арина Ивановна до самой смерти. В страхе да в тоске она скоро и зачахла. Перед смертью у всех у нас прощения просила и с рыданьем говорила: «Помолите вы за меня богу! Помолите!» Священник, что ее исповедовал, тихий старичок такой, вышел от нее сам не свой и все крестился шел. Какое у ней было добро, какое имущество, Арина Ивановна на церкву да на нищих завещала.

После Арины Ивановны нам было вольнее: и на крылечке постоишь и сад обежишь – не боишься. Барыня за нами не следила, лишь бы ей все было готово, подано, а то что себе

хочешь делай, где угодно будь. Кроме еще того, говорю, господа в последнее время в большой тревоге были и печали: совсем денег не было. Пшеницу они еще на корню продали, и стало им не надолго: отпраздновали барынины именины, а на свои барин больным сказался, не было ни обеда, ни пиру, и ставни велели затворить, чтоб видел, кто приедет, что так-то уж хворы, что и свету божьего глаза не сносят. Все барин письма пишет, а барыня через его плечо читает да вздыхает; ответные, верно, не хороши, не веселы шлют: как ни получают – призадумаются, совсем примолкнут.

Ходила я раз по саду, под вечер, вдруг прямо к моим ногам яблочко упало, да такое славное, наливное яблочко. Подняла я да оглядываюсь. Господи! откуда это? а невдалеке от меня Андрей стоит – смеется. «Испугалась?» спрашивает. «Нет», говорю... и давно ли он тут гуляет, спрашиваю. «Я давно уж гуляю». – «Как же я не видала?» – «Да я ходил вдалеке, сторонкой, да смотрел, как ты гуляла, как думала... и о чем так думала?» – «Мало ли что в голову придет, а рассказать-то ведь трудно, – ответила ему. – Какие славные вечера теперь стоят, погожие», говорю. «Да, – ответил он: – тихие». Да и разошлись мы... Я ему за яблочко и спасибо не оказала, как-то забыла. Ну, думаю, в другой раз увижу, скажу... На другой вечер опять я в саду его встретила и за яблочко поблагодарила, да больше-то и не приберу, что ему оказать: опять вечер погожий похвалила... да «прощай» говорю.

– Что ж, если вечер-то вправду хороший, отчего не погу-

ляешь? – спрашивает.

– Нет, – ответила, – нельзя, работа есть барская.

– Может, не к спеху? – промолвил.

– Нет, спешная... прощай...

И пошла. Оглянулась, он стоит и мне вслед глядит. А работы у меня не было тогда никакой, и сама я не знаю, зачем перед ним слукавила... Пришла в хоромы, села да до поздней ночи просидела под окошечком, сложа руки...

Стали мы каждый вечер встречаться... Он мне слово скажет, я ему – и разойдемся...

Неприметно свыкались. Кажись, что тут, одно слово перемолвишь да в его глаза приветные глянешь, – а присушило, приворожило на целый век... Всем он мне полюбился: и красой, и речами ласковыми, и разумом быстрым. Веселый был такой, на все-то отважный да бравый... Он мне за утеху и за совет стал. Затужу ли, загорюю ли, приду около него поплакать, он мои слезы осушит своим словом совестливым... И говорил он мне, бывало: «Не горюй! жить и так горько! Кручиною ты ничего не возьмешь – бери сметкой да спокойем!» Вот как я подле него, то и голову подниму, а нет его, кажется, что и земля из-под ног у меня уходит. Ведь как раз горе человека придавит, придушит, будет он на весь век знать. Сломи-ка верхушку с дерева, – после и роста его и поливай, пойдут новые отростки молодые, побеги зеленые, – а верхушки все нет... И он тоже сирота был и взрос одиноко, да как-то ему далось все в руки: и сметливость, и весе-

лость, и отвага, – а я себя только к тоске приспособила... Бывало, когда я его своей печалью запечалю, что смолкнет он, призадумается, так только кудрями шелковистыми тряхнет и словно с плеч ту печаль сбросит... не то что я с своей расстаюсь, будто нехотя, будто ее жалеючи... Настала осень дождливая, ненастная, вечера темные, густые тучи по небу бродят, разве сверкнет одна ясная звездочка и опять пропадет, а мы станем где под навесом около хором, частый дождь и бьет и сечет в горячее лицо – горюшка мало! Разве только скажешь: экой дождь славный!

А зимой! выюга, метель, вихри снежные пусть себе морозят, заносят, только бы нам верное слово перемолвить. Положили мы к господам идти, как избу себе поставим. «Что ж, – говорил Андрей, – я тебя не хочу в людскую привести, а вот весною свою избу поправлю, да тогда на свое хозяйство, в свой уголок...» Весной перекрыл он избу, ставни узорные поделал, крылечко решетчатое.

Все дивуются да догадываются: «На что Андрей избу украшает? Не хочет ли Андрей жениться? И на ком думает?» А правды никто-никто не знал, не ведал... Изба его стояла в ряду с другими, и часто я пробиралась туда огородами, бывало, да тайными тропиночками. Приду да и сижу там, и никто того не мыслит. Сижу себе там да думаю: вот тут я свой сундучок поставлю, а тут я образок повешу; и как это я его встречать буду, как он домой придет, и как я тут у него хозяйкою буду – все, бывало, передумаю. Часто мне барышня

покойница вспоминалася, – и вспомнится живо так, будто вот ее тихий вздох я слышу... И с Андреем сидючи, вдруг вижу, она как словно пронесется передо мной... Я часто, бывало, говорю Андрею, рассказываю об ней...

– А забеги-ка нынче в рабочую пораньше, – говорит мне раз Андрей: – я работу новую начал.

А это он мне сундучок делает... и какой этот сундучок славный был! Я его и во сне сколько раз видела, что вот я туда добро какое-то складываю; а то приснится мне, что сундучок мой рассыпался, или открою, а из него огонь и дым валит...

– Готова моя изба, – говорит Андрей – дождемся розговень и пойдем к господам.

– Али чего ждать! до розговень уж недалеко, пойдем к господам теперь, а после петрова дня и свадьбу сейчас сыграем.

– Нет, Андрей, погоди, – говорю ему: – погоди ты немножко. Теперь господа очень горюют, в большой они печали – как еще примут нас?

Знаете, ведь у нас все на барском веселом или печальном часе.

Уж давно повадился к нам ездить новый сосед, барин угрюмый такой, усы у него щетинистые, взгляд железный какой-то, одет весь в черном, а на шее красненькая ленточка. Он по соседству себе имение большое купил года два назад, и мы его понаслышке только, до сей поры знали, что будто очень он лют был. Вот познакомился он с нашими господами, сам приехал, да и стал учащать. Как он ни побывает, по-

сле всегда барыня плачет, а барин вздыхает да насвистывает... да не прежнюю веселую плясовую, а какую-то заунывную... И как знакомец новый ни приедет, разговоры у них с господами жаркие идут... Стал слух носиться, что ему хотят Рогожино продать... Как я услышала – бегу к Андрею. «Андрей, говорю, знаешь?» – Знаю, знаю! – ответил: – только тебя подждал, сейчас идем к господам. Что дальше будет, неведомо: хорошего много не жди!

– Как идти-то? – говорю: – ведь теперь тот сидит у них, и спорят о чем-то.

– Верно, торги ведут нашими головами, – ответил мне Андрей. – Да еще не время его бояться, еще не пора, пойдем!

– Ну, пойдем!

Еще в сени входим, уж голоса слышим... В гостиной говорят.

– Да помилуйте, – басит сурово кто-то, – никто другой вам такой цены не даст, что ж вы еще жалуетесь, что дешево продали!

– Да мне прошлого году почти вдвое больше давали, – отвечает наш барин.

Барыня, слышно, всхлипывает.

– То был год прошлый – тогда давали, а теперь год нынешний – теперь не дадут!

А мы стоим да слушаем...

И долго стояли... То тот, то другой мимо нас к двери прокрадывался послушать; кажись, все на нас глядели удивляю-

чись, чего мы тут стоим оба, и спрашивали: «Чего вы ждете? чего стоите?» – Не томи ты и себя и меня, решайся! – сказал Андрей. – Войдем прямо к ним.

– Войдем, – говорю.

И отворяем двери. Барин наш услышал, вскочил – такой он и встревоженный и раздосадованный. Барыня платочком прикрывается – плачет, а чужой пристально своими глазами железными на нас глядит.

– Что вам надо? что это значит? – нетерпеливо так спрашивает барин.

Говорит ему Андрей, просит его...

– Как, Игрушечка, – вскрикивает барыня, – ты хочешь замуж выходить?

– Свагайтесь, женитесь, мне все равно! Не до вас теперь, ей-богу! – говорит нам с досадою барин.

И махнул рукой, чтоб шли. Тогда чужой привстал:

– Позвольте!

– Ах, да! – вскрикнул наш барин: – я забыл! Я уже не господин ваш, вы проданы, вот ваш новый барин!

– Как! – вскрикнула барыня. – И Игрушечка продана? Ах, боже мой!

Мы глядим на нового – хотим его попросить, а он нам как крикнет: «Марш отсюда!» – и отвернулся...

– Пропали мы, Андрей! – говорю.

Он молчал, все о чем-то крепко думал... Под вечер приехал исправник и с ним весь стан и еще какие-то господа, что

на все кругом такими жадными глазами смотрели.

Созвали людей к крыльцу, объявили им, что проданы они; нового барина показали...

А он стоит и оглядывает покупку свою и поморщивается – не по нраву ему пришлось.

– Что за люди! – говорит исправнику. – Как стоят! как глядят! Смелость-то, дерзость-то какая!

– Ничего, – исправник отвечает, пристегивая свои сюртучок, – исправить всякого можно!

Новый барин сейчас же и поселился в доме... Прежние наши господа еще на два дня оставались... Это время я почти Андрея не видала: новый барин успел уж всех на работу поставить; из его имения приказчик приехал за всем надзирать, и неугомоним был и неусыпен: везде его голос сиплый слышен; во всех уголках он словно из земли выросал – сам приземистый, голова большая, взгляд свирепый, а в руке арапник тройной. Накануне выезда призвала меня барыня.

– Игрушечка! – говорит, – собралась ли ты? ведь ты со мной едешь. Как благодарна я вам, – обратилась к новому барину, – что вы мне эту девушку уступили – я привыкла к ней очень. Как я благодарна вам!

«Вот что еще меня ожидало!» – подумала я себе и прямо к Андрею пошла.

– Прощай, Андрей, прощай, желанный!

– Не плачь, не тужи, поможешь ли? – говорит он. – Пойдем к барыне...

– Да что ж, – молвлю, – подарит она нас по своей доброте рублем или платищем с своего плеча...

– И то правда! – проговорил. Голос приказчиков послышался. – Иди, иди скорей, – гонит меня Андрей, – иди, боюсь, он тебе скажет что.

Мне же словно какая-то надежда в душу вошла: попытаюсь, попрошусь у барыни! Все думаю и все никак время не выберу, не застаю ее одну.

Уж карета запряжена, а я еще ей ничего не сказала... уж одеваются... Тогда я не смотрела, кто был тут, стала ее просить, молить: «Оставьте меня! у меня жених есть любимый!» – «Ах, ах, Игрушечка! не стыдно ли тебе, и ты меня могла бы оставить? Ах, как же это можно! Боже мой! все нас покидают!» И заплакала...

Повели ее под руки в карету, посадили... толкнул и меня кто-то, и помчались мы...

Еще раз увидела я Андрея... стоял он при дороге белый как полотно и поклонился...

Мелькнуло лицо барина нового и глаза его холодные.

Через два месяца пришло известие из Рогожина, что несчастье случилось... Шесть человек на поселение пошло... Андрей шестым...

А мы вот переехали к барыниной тетеньке – поселились у нее, да и живем себе...

Никого мне, ничего знакомого, только вот портрет барышни покойницы; кудрявенькая и веселенькая она на порт-

рете: такая была она, когда меня Игрушечкой назвала.

Далеко ж теперь Игрушечка переброшена, далеко...

Барынина тетенька уж старая барышня, седая и скупая. Ходит она вся в черном и часто молебны служит, а платит она за них не деньгами – мукой, или овсом, или круп пошлет. Дом у ней большой, комнаты темные, и везде черные коврики суконные перед порогами. Кругом дома амбары, кладовые – везде тяжелые замки висят; сады – и те замкнуты. Девушки горничные все кружева плетут, барышня продает, и все говорят шепотом, тишина в доме, тишина, только барышнина собачонка заливается лаем звонким... Скучно моим господам у тетеньки; похудели и побледнели, у ней живучи, и словно полиняли... Приду я барыню раздевать ввечеру, а она мне жалобно:

«Игрушечка! скажи хоть ты что-нибудь веселое!» Только они входят к тетеньке, – тетенька тотчас свои очки возьмет, протирает, наденет и глядит им в глаза и головой качает: «Ох, ох! весь вы мой домишко разнесете, размотаете, только я глаза закрою, все у вас прахом пойдет!» Охает и все одно им твердит. Они уверять ее почнут: «Да можно ли, да мы никогда», а она головой качает...

Меня выучили кружева плести... вот я кружева плету и век свой изживаю... Много время с той поры прошло, как я сюда приехала, много тоски, много скуки едкой пережито... Да ни к кому уж я сердечно не привязалась, ни к кому уж и не привяжусь... Только сердце забьется, только душа повле-

чет – видится мне впереди пустая степь безбрежная, дальняя
дорога, да тоска жгучая, да слеза одинокая...